

Из *Старосветских помещиков* я узнал много интересного. На первом месте вот что: в девятнадцатом веке в украинских лесах водились дикие кошки!

«...они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян.»

Что дикие кошки водились, в это не вижу причин не верить. А что они «подрываются подземным ходом» — это несомненная поэтическая вольность; таких кошек не бывает.

Второе открытие — слово лежанка. В моё время в моём месте так называлась вообще любая кровать, преимущественно односпальная и не самая удобная. Оказалось — хоть и не Гоголь об этом сообщает — что это «длинный выступ у печки для лежания». Занятно, что русско-советские комментаторы Гоголя этого слова нам не поясняют, хотя в ткани повествования оно выпирает как неуместное по теперешним представлениям: человек ночью встаёт с постели и ложится на лежанку.

Вообще не поясняется очень много гоголевских слов, а специального словаря Гоголь на этот раз (к сборнику *Миргород*, 1835) не прилагает. По словарю и теме *Старосветские помещики* — продолжение *Шпильки*: Гоголь опять упивается бытовой стороной жизни своей провинции, в первую очередь хлебосольством помещиков, их столом, — и упивается в ключе совершенно ностальгическом: «нам мило всё то, с чем мы в разлуке» (как мучительно смыкаются в этой фразе звуки м-м в соседних словах! Где, спрашивается, поэтическое ухо Гоголя?).

Некоторые диалектизмы выписываю для памяти: компанеец (легковооружённый козак), лембик (перегонный куб), войт (wójt, староста в Польше и Литве, но, видно, и на Украине тоже), дуля (сорт груш), мнишки (вареники), узвар (компот), тендитный (тендітний, нежный), комор (амбар), деревий (тысячелистник), гугля (шишка на лбу), травянка (тыква), нечуй-витер (цветок мыши ушки), урда (выжимка из семян мака), декохт (лекарственный отвар), растрошило (раздробило). Список можно продолжить. Он в основном гастрономический и кулинарный.

Но зато совсем пропали назойливые украинизмы ранних вещей Гоголя: парубки, хлопцы, дивчины. Слово козак встречается один-единственный раз: сплошь идут *мужики*. Арбуз у Гоголя теперь арбуз, а не кавун. Даже хаты украинские Гоголь теперь почти всюду называет избами, а люльку — трубкой. Два языковых потока по-прежнему играют в чехарду: рядом с мнишками идут у него вареники, рядом с комором — амбар. Гоголь поверил в себя, решается перейти на русский язык (подставной рассказчик Рудый Панько ему теперь не требуется), но переходит Гоголь на русский неуверенно, не до конца.

Хорош ли этот новый русский язык Гоголя? На мой вкус он приемлем. Придирки мои незначительны. Гоголь злоупотребляет уменьшительно-ласкательными суффиксами, не избегает соседствующих однокоренных слов и повторов (слово *низенький* встречается на первых страницах рассказа семь раз). Сливы у него (плоды сливового дерева) «покрыты матом». Соловей у него по-прежнему гремит, на этот раз — «раскатами», но теперь ещё и перепел гремит. Платья у него *укладены* в сундуки. Слово *молодежь* (не знаю, где Гоголь ставил ударение в этом слове... и никто этого не знает) подразумевает у Гоголя только юношей, но не девушек, что едва ли не ошибка даже по тогдашней норме. Вместо формулы *стреляный воробей* идёт у

него *обстрелянная птица*; вместо *неровен час* — *неравно всякого случая*, — но это не ошибки, а всего лишь шероховатости, будто бы воспроизводящие местный говор. Встречаются и два *которых* в одной фразе... но этим ведь и сам Толстой потом будет грешить и даже бравировать.

Прямая и несомненная безвкусица в *Старосветских помещиках* встречается только один раз: вместо *штукатурки* идёт у Гоголя *щекатурка* — на первой странице, когда Гоголь ещё не решил, в какой мере он хочет в этом рассказе позабавить петербургского аристократа, а в какой мере — умилить его. Второе потом перевесило, и больше такого циркачества не встречается... Нет, язык в рассказе в целом неплох. Писатель имеет право варьировать бытующую языковую норму. Но, конечно, это не блистательный язык петербургских карамзинистов.

Что до сюжетных несообразностей, столь обильных в *Диканьках*, то их тут вовсе нет... отчасти потому, что тут — как и в *Шпоньке* — практически нет сюжета. Есть стилистическая неряшливость: Афанасий Иванович «ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом», а потом вдруг выясняется, что он часто ходит ещё и в халате. И стулья у Гоголя почему-то деревянные — как если б их делали в основном из какого-то другого материала... но это придирка языковая: Гоголь хотел сказать: не крашенные, да споткнулся. Вообще каждый абзац подтверждает моё давнее впечатление, что Гоголь не умел и не любил работать над тканью своей прозы.

Действующих лиц в рассказе двое, но они не действуют, а постоянно пребывают в славном украинском *dolce far niente*. Характеры бездетных супругов Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогубов голословны, схематичны. Гоголь объявляет их добрейшими людьми на свете, восхищается их «теплотой», но даже это их качество не подтверждено ни единым поступком. Самое хлебосольство этой пары остаётся назывным, описательным (в *Шпоньке* не так: там украинское хлебосольство изображено художественно, а приписано — людям не столь уж несомненно добрым). Хорошо это бездействие или плохо? Тут дело вкуса. В рассказе Бунина *Отто Штейн* тоже ничегошеньки не происходит (кроме сквозящего между строк русского презрения к немцу) и тоже всё скорее назывное, чем иное, но там с изумительной зоркостью увидены и описаны детали и пейзажи, точность во всём почти математическая, — то есть упор сделан как раз на то, чего у неряшливого, неуклюжего Гоголя никогда не бывает. По мне — в рассказе должно что-то совершаться. Бессюжетные вещи не западают в душу и плохо запоминаются. Никто из моих знакомых не смог вспомнить, о чём эта вещь Гоголя, что в ней происходит. Но разве можно, однажды прочитав, забыть, что случилось в рассказе Мериме *Маттео Фальконе*?

А вместе с тем в *Старосветских помещиках* происходит важное: Гоголь впервые поднимается над местным колоритом, над всякими галушками и лембиками, и ставит общечеловеческий вопрос, который так или иначе приходится решать каждому. Возьмём этот вопрос в формулировке Пушкина, вместе с пушкинским ответом: «Привычка свыше нам дана: / Замена счастью она». Пушкинский ответ — насмешливый ответ молодого повесы, признающего в жизни только сплошной праздник. Гоголь отвечает глубже, хоть и не решается возразить Пушкину прямо. Он тоже употребляет насмешливое слово *привычка*, которое, конечно, не выражает сути дела, не годится здесь для серьёзного ответа, а вместе с тем всем своим повествованием Гоголь подводит читателя к другому. Если двое, он и она, пусть хоть люди совсем примитивные, ведущие «низменную буколическую жизнь», как эти гоголевские

Товстогубы, десятилетиями довольствуются обществом друг друга, если они предпочитают ежедневное общение друг с другом всем прочим обычным удовольствиям, если этому общению принесены в жертву все соблазны, все страсти, все радости светской столичной жизни, — то тут уже не привычка, а нечто большее: душевная близость, любовь, которую очень можно противопоставить чувственной и обычно мимолётной любви, названной у Пушкина счастьем.

При этом, я убеждён, Гоголь не только не сознавал, что полемизирует с Пушкиным, но и своему художественному ответу на этот житейски-философский вопрос поверил не до конца, сохранил тайное сочувствие к ответу пушкинскому — ведь Гоголь не знал настоящей любви, не был никогда страстно любим женщиной. В этом своём отношении к поставленному вопросу, в своём неведении он — художник. Художник не мысль формулирует, а жизнь осуществляет — и зачастую не знает, как сформулировать свою главную мысль, потому что не нуждается в этом знании. Лев Толстой, прочтя краткое изложение *Войны и мира*, сказал компилятору: «Вы гораздо умнее меня. Мне, чтобы понять всё это, потребовалось написать всю книгу от начала до конца».

Сознательно или бессознательно, а Гоголь перекликается и с Шекспиром:

«Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины рождали великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля...»

В пастернаковском *Гамлете* это звучит так:

— Сказать по правде, мы идем отторгнуть  
Невзрачный кус, в котором барыша —  
Лишь званье, что земля. Пяти дукатов  
Я б не дал за аренду, да и тех  
Не выручить Норвегии и Польше,  
Пусти они в продажу этот клад.  
— Какой полякам смысл в его защите?  
— Туда уж стянут сильный гарнизон.  
— Двух тысяч душ, десятков тысяч денег  
Не жалко за какой-то сена клоч!

Пастернак, разумеется, знал приведённые мною слова Гололя, когда переводил *Гамлета*, и его «сена клоч» кажется мне откликом (едва ли не бессознательным) на гоголевский «клочок земли» (у Шекспира есть «клочок земли», *patch of ground*, но нету «клока сена», там стоит *this straw*, «эта солома»).

Ещё отмечу, что теория катастроф, созданная как дисциплина в двадцатом веке, может быть возведена к этому фрагменту *Старосветских помещиков*, к словам «всегда ничтожные причины рождали великие события»... — но это, конечно, будет с моей стороны натяжкой. Давно отмечено, что у писателей и поэтов прошлого часто встречаются мимолётные догадки и прозрения, подхваченные (переоткрытые) в новое время точными науками.

Хочу отметить ещё одну переключку. Предчувствие близкой смерти приходит к Пульхерии Ивановне с появлением и исчезновением кошки, — и в точности то же предчувствие посещает лирического героя поэта Георгия Шенгели (1894-1956): «Это, видно, смерть приходила», говорит он о кошке. Однако Шенгели мог обойтись и без Гоголя. У этих двух писателей мог быть общий источник: народное поверье.

Есть у Гоголя в *Старосветских помещиках* слово милиция, которого никто никогда не прокомментировал: «кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места». О какой милиции речь? Ответ возможен только один: о козачьем ополчении, о компанейцах, в которых служил Афанасий Иванович. Но «старичку» Афанасию Ивановичу шестьдесят лет, женился он тридцати лет, уже после компанейства, а лошадиный век — пятнадцать лет. Гоголь хочет рассмешить своим явным преувеличением возраста лошадей. Не знаю, было ли смешно его современникам, а потомкам Гоголя, знающим советский смысл слова милиция, непросто связать эту милицию с юностью Афанасия Ивановича, смысловой перешеек утрачен, и шутка выдохлась. Теперешний читатель отодвигает повисшее в воздухе слово как несущественное и читает дальше.

Главные герои *Старосветских помещиков* выписаны с любовью и вызывают (у меня, по крайней мере) если не любовь, то симпатию, сочувствие, а читательское сочувствие герою — признак настоящей прозы. Второстепенные герои, простонародье, дворовые Товстогузов, войт и управляющий, выведены едва ли не чудовищами, — обычное дело у Гоголя, который всё время словно бы усмехается над своими земляками, шаржирует их, притом не без высокомерия уже петербургского, а то и на карикатуру сбивается. Между прочим, управляющий именем назван у него *приказчиком*, хотя приказчик в то время в России — продавец в лавке.

Непременная у Гоголя словесная избыточность, выражающаяся в его обязательном многословьи, в *Старосветских помещиках* не так тягостна: она скрашена любовью в описываемому. Пресловутая гоголевская поэтичность по-настоящему хороша в двух-трёх местах, притом уже на первой странице:

«Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами...»

«Ни одно желание не перелетает за частокол» — это стихи. Отмечу ещё «ковёр перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц». Но в целом с этим — не густо.

Разумеется, все советские толки о «бичующей сатирической силе» этой вещи, об «ограниченности и скуке пошлого существования» помещиков, будто бы высмеянных Гоголем — ограниченный, пошлый и скучный мещанский вздор. Я согласен с Пушкиным. Пушкин увидел тут «шутливую трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слёзы грусти и умиления». Умиление — вот подходящее слово... Я ещё не прочёл всего Гоголя, но начинаю подозревать, что и в самых главных своих «бичующих» вещах Гоголь отнюдь не сатирик.

В целом этот рассказ — хорошая проза начинающего провинциала... но «великая русская литература» здесь не ночевала и даже в намёке не присутствует.

11.03.22